

Стихи от хорошей жизни не пишут. Они продукт глубоких потрясений, страданий, катастроф. Всего этого на мою долю выпало с избытком.

Я родился в 1937 году, а в 1938-м арестовали отца. И Белокаменная изблевала нас с матерью из своих каменных уст за 101-й километр без права проживать в крупных городах — не самое страшное, что могло случиться с ЧСВН (члены семьи врага народа).

Война застала нас в Можайске. В детскую мою память врезались взрывы бомб и надсадный вой «юнкерсов», заходящих на бомбометание. После очередной такой бомбёжки от нашей халупы осталась гряда кирпича в окружении воронок. Из-под этих обломков меня, четырёхлетнего, и вытащили, перепуганного насмерть.

Под артиллерийским обстрелом товарный состав увозил нас на восток. Авианалёты на наш состав следовали один за другим. Взрывы сотрясали землю, и женщины, хватая детей, выпрыгивали из вагонов и рассыпались по кустам, прижимая нас,

перепуганных ребятшек, к себе и припадая к стылой земле. К несчастью, хвостовой вагон был разбит взрывом в щепки, и никто из него не спасся... Но путь восстанавливали, и поезд всё-таки вырвался из этого огненного ада. Что это, как не Божье чудо?!

До Урала мы добрались уже глубокой зимой, без тёплой одежды, без документов и без куска хлеба — всё было потеряно в кошмарной панике бомбёжек. О том, чтобы найти пристанище в областном центре — Чкалове (ныне Оренбург), не могло быть и речи — город был переполнен беженцами. В поисках хоть какого-нибудь угла мы переходили из одного села в другое — результат был везде один — всё уже занято беженцами. Наконец, Бог привёл нас на хутор Рассыпное Соль-Илецкого района, где нашлась для нас маленькая банька. В этой избушке на курьих ножках, без единого окошка, мы и прокантовались все четыре военных года, почти до самого дня Победы. Замшелая эта избёнка органично вписывалась в глухомань, обступавшую её: ни телефонной, ни почтовой связи,

ни электричества, ни радио. Телеграфные столбы, спиленные за ненадобностью на дрова... Нигде после не ощущал я с такою силой запустения и заброшенности России.

Бывают эпохи, которым нет дела до человека. Грохотала страшная война, и государству было не до нас. И слава Богу! Враждебная мощь режима была отвлечена на внешнюю угрозу. Это и спасло меня от Карагандинского лагеря для малолеток — удела детей «врагов народа». Никому не было дела до того, как мы существуем и живы ли мы вообще.

Помнится, в пищу тогда шло всё: прогорклое зерно полусопревших прошлогодних колосков, картофельные очистки, лебеда, жёлуди... Сосущее чувство голода врезалось в мою память, во всё моё существо на всю оставшуюся жизнь; да ещё помнятся вести с фронта, которых мы ждали, как хлеба, и которые доходили до нашей глухомани самым непостижимым образом. Всё, что оставалось за рамками двух этих вещей, было несущественно, а потому не оставило никаких следов в моей детской памяти.

Лишённый элементарного питания, прежде всего хлеба и молока, я был истощён до крайности — что называется, кожа да кости — и к семи годам весил вдвое меньше своих московских сверстников; у меня не было сил двигаться, жить; я лежал,

пребывая в неустойчивом равновесии между тем и этим светом, явно склоняясь в пользу первого. Но умереть не так-то просто — нередко Высшие Силы по каким-то недоступным пониманию смертных причинам вмешиваются в судьбу угасающего создания; и я, вопреки прогнозам окружающих, выжил.

Кстати, в первый класс потом я был принят на год позже сверстников по причине крайнего истощения.

Когда стало ясно, что война кончается, беженцам разрешили возвращаться в родные места. Перед нами встал выбор: Москва или заволжское село Заплавное, откуда мать была родом и где она родила меня.

Слов нет, Москва притягивала мать гипотетической возможностью вырваться из тисков голода; к тому же в Москве у неё были друзья, однокурсники, привычная для неё театральная среда. Но мысль о Москве пришлось сразу же оставить, ведь в Белокаменной были не только друзья, но и... Лубянка.

Наш отъезд подстегнула телеграмма из Заплавного: там умирала мамина мать — моя бабушка, которой я не знал совершенно.

Опережая события, скажу: мы приехали, и она угасла у меня на руках, пока мать бегала по селу в поисках куда-то отлучившегося врача.

Костлявый, только что выпи- санный из больницы, где меня

выходили от истощения, я с недоумением смотрел на бабушку: с чего бы этой незнакомой женщине вздумалось испустить дух у меня на руках?

Мать, конечно, сильно рисковала, трогаясь со мной в неблизкий путь в полную неизвестность: я был столь слаб, что у неё не было никакой гарантии довести меня с Урала до Поволжья живым; но выхода не было, и мы поехали...

День Победы я встретил в Заплавинской сельской больнице с диагнозом «дистрофия»; там меня не только возвратили к жизни, но и маленько подкрепили, даже, помнится, давали рыбьего жира, так что постепенно я стал приобретать нормальную для своего возраста комплекцию; но синдром Маугли — этот смертный страх перед голодом и ощущение враждебности мира — ещё долго, на протяжении всего моего детства, преследовал меня.

Спустя десятилетия я время от времени принимался оживать в памяти худосочное и затурканное моё детство, пытаюсь отыскать в нём хоть сколько-нибудь отрадных эпизодов, да так ничего и не откопал краше сельской Заплавинской больнички; там немолодая женщина в застиранном халате жалостливо приподнимала мою голову, вливая мне в рот сладкий раствор глюкозы; после её ухода я впадал в блаженную прострацию...

В Заплавное мы бежали от войны, но она нашла меня и там.

Летом 1945-го мы с сыновьями маминой сводной сестры, Шашковыми, пытались раскурочить крупнокалиберный патрон (этого добра от Сталинградского фронта остались горы). Патрон взорвался у меня в руках, и осколок попал мне в шею, чуть ниже кадыка — рядом с сонной артерией. Мать через всё село на руках принесла моё безжизненное, истекающее кровью тело (благо веса в нём было немного) в ту самую больницу, где незадолго до этого я лечился от истощения; и меня вытащили с того света во второй раз; под кадыком моим на всю оставшуюся жизнь поселился шрам.

Однажды произошло событие, малозаметное для окружающих, но кардинальным образом изменившее мой внутренний мир и всю мою судьбу. Бабушка Востричиха, долго ко мне приглядывавшаяся, отвела меня в деревянный заплавинский храм, где я и был крещён в возрасте десяти лет; бабушка стала моей крёстной, а крестил меня богатырского вида батюшка, отсидевший своё за веру.

Много воды утекло с тех пор, но я с уверенностью могу сказать, что Господь не единожды спасал меня от гибели и приходил на помощь в самые страшные моменты моей судьбы.

С содроганьем вспоминаю собственную юность. Затёрханный нищетой, задолбанный унижительным сиротством, я рано понял, что никто в этом мире моего прихода не ждал. Более

того, со временем мне стало казаться, что родители и выпустили-то меня на свет Божий с одной-единственной целью: чтобы я вдоволь поиграл с его напастями. В подростковом возрасте я испытал острое ощущение тщетности существования.

Заброшенный в жизнь по чистому недоразумению, я завидовал детдомовцам, у которых отцы погибли на фронте, и так и не смог по-настоящему укорениться в этой жизни — сценарий, уготованный с рождения любому безродному. То, что другим подросткам давалось без всяких усилий, всего лишь по праву рождения, — будь то материнская ласка, одежда или пища, — мне приходилось зарабатывать, — часто недетским, чёрным трудом. В конце концов, мне это всё страшно обрыдло; последыш «врага народа», обуза для вышвырнутой за Можай, нищей матери, я не знал, что мне делать со своей жизнью, и стал не на шутку задумываться о насильственной смерти — закономерный финал никому не нужного рождения.

Удержала меня от этого страшного шага исподволь зреющая в неокрепшей душе вера, для которой самоубийство — тяжчайший грех; позднее я уже был достаточно воцерковлён, чтобы не дать себе погибнуть в самых гиблых местах в самых гибельных ситуациях.

Сегодня я более всего боюсь внезапной смерти: боюсь уйти из жизни без покаяния. Каким бы

невыносимым ни был этот мир, самоубийство не избавляет грешника от мук, а лишь добавляет новые...

В памяти всплывает такой эпизод. Мне девятый год; я сижу в пустой сельской школе; уроки давно кончились, дети и учителя ушли. Я стою у окна, гляжу на пустынную дорогу, по которой должна прийти с работы мать и забрать меня. Но она не идёт. Я стою у окна час, и два, и три — целую вечность! Начинает смеркаться — её всё нет; слёзы мои капают на подоконник...

Причина, по которой я не могу идти домой, как все остальные дети, чрезвычайно проста и для одноклассников моих очень смешна: у меня нет никакой обуви, кроме парусиновых, белёных зубным порошком тапочек, а на дворе — ноябрь, и я жду, когда мать придёт и отвезёт меня на санках домой.

Она возила меня в школу и обратно и в октябре, и в ноябре — по голой, ещё бесснежной земле на санках, под насмешливыми взглядами сельчан. Наша нищета даже на фоне общей послевоенной скудости бросалась в глаза всякому, вызывая у заплывинцев тихую радость от сознания того, что кто-то в этом мире есть ещё обделённой их.

Одет я был в «лапсердак» цвета жухлого табачного листа, перешитый мамой из трофейной немецкой шинели, сукно которой расползлось по швам. Это сукно практичным немецким

командованием явно не предназначалось для долгой жизни (одетый в шинель из такого сукна оставался в живых в сталинградских боях считанные дни, а иногда и часы) и сменило своего хозяина зимой 1944 года.

С наступлением холодов я в этом штопаном-перештопанном, нелепом «пальто» постоянно простужался, пропускал занятия; словом, с учёбой моей в Заплавном так ничего путного и не вышло.

Несмотря на нищенское наше положение, односельчане относились к нам сочувственно и даже с неким пиететом (как-никак, мы были москвичи). Однако это дела не меняло. Жилось нам в Заплавном не намного сытнее, чем на Урале. В селе не было работы, и мы перебивались на те нищенские съестные подачки (полбуханки хлеба, что-нибудь из овощей, пяток яиц), которые перепали матери за мытьё полов в сельсовете, прополку чьего-нибудь огорода и уход за больными. По мере сил трудился и я: сколачивал из дощечек тару под помидоры, пас коз, сторожил колхозное поле от птиц и скотины. Денег за это не платили, но пяток крупных помидорин и десяток огурцов в конце дня я домой приносил.

Хуже обстояло дело зимой, когда работы в селе не было никакой.

И всё-таки мы не сдавались, и Господь не оставил нас.

В те трудные дни нам неожиданно помог слух о мамином актёрском призвании, распространившийся за пределы Заплавного и достигший райцентра. Слух этот родился не на пустом месте. Несмотря на нищенское наше существование и все беды, свалившиеся на мать, актёрско-режиссёрский дух в ней не угас. При первой же возможности она сколотила труппу из местной интеллигенции (три учительницы, врач, агроном, зоотехник); и закипели в нетопленном сельском клубе страсти! Зрители обливались слезами над жестокостями судьбы героя пьесы «Без вины виноватые», с замиранием сердца следили за «Бесприданницей» (во всех этих пьесах мама играла главных героинь) и другими героями Островского; это в какой-то мере утоляло творческий голод мамы. Увы, только творческий.

В один из совсем уж бескормных месяцев мы с мамой снялись с места и перебрались в райцентр — крупное село Среднюю Ахтубу в двенадцати километрах от Заплавного. Там, в районном доме культуры, для мамы нашлось место руководителя художественной самодеятельности. Маме положили небольшой оклад, выделили комнату в общежитии барачного типа. Мы были на седьмом небе от счастья, я стал ходить в школу.

Но счастье длилось недолго. Не прошло и года, как какой-то

доброжелатель «сигнализировал» в райотдел культуры о том, что хударук в клубе — жена осуждённого «врага народа». После этого мать сразу же «попала под сокращение». В барак явились участковый с человеком в штатском; оглядев голые стены нашей каморки и убогую койку, они объявили, что в связи с каким-то нарушением нам следует в течение 24 часов освободить помещение.

Этому событию предшествовал такой эпизод. По детской своей доверчивости я открыл душу школьному товарищу, рассказав об отце, которого никогда не видел, о кошмарных ночах матери, ждавшей ареста вслед за отцом, о высылке в Можайск и всех наших мытарствах в эвакуации. Приятель слушал с видом самого искреннего сочувствия; а на следующий день я стал ловить на себе какие-то странные взгляды и зловещий шепоток за спиной. Мать встревожилась не на шутку: «Ты никому ничего не рассказывал?» Учительница в классе вдруг перестала меня замечать, как будто вместо меня за партой было пустое место, родители шипели на своих чад, если кто-нибудь из них здоровался со мной — словно я какой-нибудь зачумлённый... К счастью, мы вскоре оттуда убрались, а это была уже другая страница моей жизни.

В полном отчаянии мы подались в Сталинград. Город лежал в руинах; о более-менее сносном

жилье нечего было и помышлять. Нашей первой «квартирой» в Сталинграде стал ржавый трамвай, для тепла засыпанный землёй; позже, — когда среди руин поднялся дворец культуры имени Кирова, и мать получила в нём место художественного руководителя, — нашим жильём стал щелястый сарай для декораций. С харчами было по-прежнему туго.

Помнится, я лазал с мятым ведром по руинам и, отваливая камни, собирал шампиньоны — их среди развалин тогда было видимо-невидимо. В этом же закопчённом ведёрке мать грибы и тушила на машинном (кажется, танковом) масле и собственных слезах. Грибы составляли основу нашего полуголодного рациона.

К слову сказать, занятие это оказалось не столь безмятежным, как оно представлялось на первый взгляд: сталинградские руины изобиловали не только шампиньонами. Много моих сверстников в поисках грибов подорвалось в тот год на минах, много детей осталось калеками...

Хорошо помню и лагеря пленных немцев, совершенно не похожих на бравых фрицев из кинофильмов о войне. Эти были подавленные, обтрёпанные и жалкие. И мы, тощие оборвыши из сталинградских барачков, у многих из которых отцы погибли от рук этих самых немцев, кидали им через проволоку хлеб и жмых под незлую ругань конвоиров.

В тот период я сильно скучал по Уралу, вспоминал эвакуацию, тихий и глухой наш хутор; сорное и сонное редколесье, где проводил время в бесцельных шатаниях.

Однажды я набрёл там на птенца, выпавшего из гнезда; при падении выпадыш сломал себе обе лапки, крылышки и, видно, отбил себе всё внутри; его круглый глаз глядел на меня безысходно и вопрошающе: он не понимал, что с ним стало. А я смотрел на его голое, вздрагивающее тельце, и тошнота подступала к горлу, и дрожь била меня, как того несчастного птенца...

В сущности, таким же оглушённым, ничего не понимающим, подавленным птенцом был и я сам, когда моя поднадзорная мать тащила меня, точно кошка котёнка, из Москвы в Можайск, а после, среди грохота и взрывов, под бомбёжкой, закидывала в теплушку состава, уходившего на Урал. Ничего не понимал я и после, когда мы с матерью, голодные, заочневшие от стужи, ложились спать на полу крохотной баньки, и снег заносил нашу конуру, как и весь глухой уральский хутор, по трубы. Выпадышем чувствовал я себя и в разбитом, руинном Сталинграде, когда отирался у солдатской кухни и сглатывал голодную слюну, провозжая взглядом котелки с кашей.

Как это ни удивительно, и в жалком моём положении я уму-

дрился не на шутку заболеть «охотой к перемене мест»: юному воображению грезились дальние диковинные страны, романтические путешествия; вся моя дальнейшая судьба — непрерывная цепь скитаний, переездов, перелётов — свидетельствует о неизлечимости этой болезни. Сколько себя помню, всегда старался обычную жизнь прожить необычным образом и действительность воспринимал, как тотальную метафору.

Если бы кто-нибудь умудрился тогда проникнуть в мою голову, то обнаружил бы там пару поэм Маяковского, нетвёрдо усвоенную таблицу спряжения глаголов, приличную ориентацию на карте Союза, несколько смазливых девчоночьих мордашек, пяток блатных песен, Кавказские, подёрнутые романтическим туманом, горы, Жилина с Костылиным; белопенные валы штормового моря, негра Джима с Томом Сойером и Гекльберри Финном; героического моего дядю Ваню, вернувшегося с фронта, — бравого танкиста с будёновскими усами и медалями во всю грудь, с которым мы пьём пенистое пиво из кружек на берегу Волги, сплёвывая под ноги раковую пунцовую скорлупу... И — никакого изгойства, ни следа нужды, безотцовства, никаких страхов. Опыанённый священными текстами Диккенса и Твена, я жаждал вырваться из убогой обыденности и преподавать

хороший урок всей бекетовской¹ шпане — моим сверстникам.

С горем пополам проучившись до седьмого класса, я пошёл работать разнорабочим на стройку. Нужда заставила. Комплексия моя мало подходила для тяжёлого труда, но рабочих рук после войны катастрофически не хватало, и меня, щуплого малолетку, приняли.

Поработав около года на стройке, я уехал в Астрахань, побуждаемый не столько соображением заработка, сколько желанием повидать другие края. Там устроился матросом на буксир «Волна», таскавший рыболовецкие суда между плавучими рыбзаводами на Каспии. Оттуда меня, уже вполне окрепшего на макаронах по-флотски, и призвали в армию (авиация ПВО).

Осень 1956 года я встретил в предгорьях Карпат, на границе с Венгрией, в истребительном авиаполку; наш полк был прикомандирован к дивизии тяжёлых стратегических бомбардировщиков. Бомбардировщики с конвоировавшими их нашими МиГами круглосуточно взлетали с моего аэродрома и брали курс на Венгрию. Там шла настоящая война, и нам частенько приходилось выгружать из воздушных грузовиков, возвращавшихся оттуда, носилки с погибшими; некоторые из убитых были в обезображенном виде: с отрезанными

ушами, выколотыми глазами, со вспоротыми животами; госпиталя Мукачевы, Дрогобыча, Львова были забиты ранеными.

В считанные недели 56-го года там было убито семьсот наших солдат и офицеров. Таков был итог того прообраза нынешних цветных революций, инспирированного, как теперь выясняется, Соединёнными Штатами. ЦРУ, теперь это уже известный факт, поставляло мятежным мадьярам оружие, инструкторов и подрывную литературу. Вакханалия с висящими на столбах советскими солдатами вперемешку с повешенными сотрудниками собственных органов правопорядка была прервана лишь благодаря маршалу Победы Георгию Константиновичу Жукову. Он быстро привёл в чувства распоясавшихся путчистов. Если бы не его твёрдая рука, то Венгрия тогда отошла бы в стан наших врагов и распад СССР начался бы 35-ю годами раньше.

Я, слава Богу, непосредственного участия в облёте венгерской территории не принимал — у меня были другие функции: круглосуточная радиосвязь «земля — воздух» между командным пунктом (КП) и нашими самолётами, «висящими» над мятежной республикой; раб ежесуточных напряжённых дежурств, я был трёхсменкой прикован к радиостанции. За четыре года службы

¹ Бекетовка — район Сталинграда, где в юности жил автор.

сподобился единственный раз побывать в отпуске (и то по семейным обстоятельствам) и раза три в увольнении в соседней деревне; единственный вид поощрения, которого я удостоился за четыре года, — снятие предыдущего взыскания.

К слову, о взысканиях. Как нетрудно догадаться, четырёхлетнее сидение за колючей проволокой плохо сочеталось с импульсивной моей натурой, и я частенько уходил в самоволку — побродить по перелескам, глотнуть сырого воздуха предгорий; несвобода тяготила мою душу, мне надо было обязательно хоть на часок-другой вырваться из-за колючей проволоки. Кончалось это, как правило, ещё большей несвободой — гауптвахтой, а порой и карцером. Именно тогда и пришли ко мне стихи, которые я стал писать, разумеется, втайне от сослуживцев, ибо сочинительство в моём положении и с моей родословной было чем-то вроде тайного порока, тщательно скрываемого; всякое моё слово, положенное на бумагу, немедленно превращалось в улику, получая истолкование злонамеренности; при этом само означаемое уже не имело собственного смысла.

Вся жизнь солдата — на виду у сослуживцев, и вскоре я был изобличён: тетрадка с моими стихами предстала пред глазами старшины, и ярости его не было предела. Ибо, как он резонно полагал, солдат, занимающийся рифмоплётством, это не солдат,

а пародия на него. К длинному перечню моих взысканий прибавился ещё один наряд вне очереди — мой первый, так сказать, гонорар за стихи. С тех самых пор я отношусь к своим стихам, как к делу глубоко интимному, почти подпольному, чреватому суровой расплатой. Собственно говоря, мой пример — ещё одно доказательство того, что писателем нормальный человек в нормальных условиях не становится. Писателем становятся, когда жизнь доводит до ручки. Вот тогда за ручку и хватаешься, как утопающий за соломинку.

Гарнизонная гауптвахта, бывшая в своей прошлой жизни австро-венгерским, а затем польским узилищем, за прошедшие с той поры двенадцать лет не претерпела заметных изменений. Всё те же толстые, покрытые плесенью стены камер; под потолком — подслеповатые окошки размером с солдатское письмо. Там меня уже хорошо знали; у меня там было своё место на нарах — его никто не смел занимать; даже все крысы на «губе» знали меня в лицо.

Разглядывая процарапанные гвоздём надписи на стенах камеры на мадьярском, польском, гуцульском и ещё каком-то тарбарском языках, я, помнится, давал волю воображению, представляя себе обитателей этого узилища, сидевших здесь до меня.

Убедившись в тщетности попыток изменить мир, я как мог

старался приукрасить его в своём воображении и каждый раз набивал себе шишки в столкновениях с его истинной сущностью. Взаимности между нами не получалось, да и не могло быть по определению, ибо мир не желал принимать меня таким, каким я был. Школьных учителей бесила моя созерцательная заторможенность, а природная моя мягкость окружающими истолковывалась как слабость, и меня на каждом шагу норовили «кинуть», как кидалы лоха. Жить в таком качестве было невыносимо, я, что называется, лез в бутылку (в прямом и в переносном смысле), и дело нередко кончалось дракой, ибо отстаять своё право на существование в этом лучшем из миров можно было лишь с помощью кулаков.

К тому времени, как меня забрили в солдаты, молва прочно закрепила за мной в Бекетовке славу драчуна. В армии я, наконец, нашёл легитимную форму отстаивания своей правоты — ринг. Я был долговяз, имел хорошие «рычаги», неплохую реакцию и к третьему году службы стал победителем во втором полусреднем весе на первенстве 58-й Воздушной армии, а затем чемпионом Прикарпатского военного округа. Это не сделало мою службу комфортней и не освободило от семидесяти суток гарнизонной гауптвахты за нелады с дисциплиной.

После демобилизации я вернулся в Сталинград, где ждала

меня ломовая грязная работа — удел всякого, не имеющего за душой специальности. И мне уже стало не до бокса. В первые же недели руки мои покрылись кровавыми мозолями и ссадинами; лом, кирка и совковая лопата быстро помогли мне дойти до мысли, что без высшего образования меня не ждёт ничего иного, как орден имени сутулого и романтический труд по прочистке фекальной канализации.

Был со мной такой случай: устроился электриком на автобазу, как потом выяснилось, полностью бандитскую — прообраз нынешних криминальных фирм. База отправляла из Сталинграда в южные регионы фуры с дефицитнейшими по тем временам материалами: в Чечню шло нефтяное оборудование, в Краснодар и Сочи — кровельное железо, швеллеры, сантехника; всё это, разумеется, «левое» либо просто ворованное с заводских складов. Я был вынужден не замечать всего этого, дабы не схлопотать себе финку под ребро либо не попасть «случайно» под колёса фуры; просто добросовестно выполнял свою работу (платили бандюки своим работягам неплохо); но они всё равно ко мне присматривались: не стучач ли? Проверили моё «личное дело» и... докопались до неожиданного: *их новый электрик не стучач. Он хуже! По нему 58-я статья плачет!*

Меня спешно вызвал пахан — пальцы веером, во рту фикса

«рыжая», на двери кабинета вывеска размером с мемориальную доску: «Начальник автобазы»; кладёт передо мной несколько красных купюр и велит убираться за ворота: «Тебя всё равно разоблачат, а заодно и нас». И пробурчал уже вслед мне: «Тебя и посадят — ты ничего не поймёшь...» А ведь я не сказал ни слова о политике, не имел привычки ругать строй, тем паче «Самого»...

После этого случая мне пришлось перебраться несколько мест работы — одна другой грязнее и тяжелее.

Валясь с ног от усталости, я шёл после работы в школу рабочей молодёжи, корпел над учебниками восьмого, девятого и десятого класса и, наконец, сдал экстерном экзамены в объёме десятилетки, а затем вступительные на историко-филологический факультет Волгоградского пединститута. Чудо свершилось: я стал, наконец, студентом, к двадцати девяти годам закончил институт, и, если бы не нелады с историей КПСС, диплом мог быть красным. Однако это несущественные детали...

К тому времени я уже всю публиковал подборки стихов и очерковые зарисовки в областных газетах и альманахе, издал три книжки стихов для детей. Вузский диплом открывал для меня возможность устроиться в штат одного из этих изданий. Лом и кирка, так же, как и матросская швабра, остались в прошлом.

Однако перспектива до конца дней осесть в Волгограде меня не радовала. Слишком уж мрачны были воспоминания детства, связанные с городом-героем. И я засобирався в дальние края, благо распределение выпускников тогда было всесоюзным, учителя русского языка и литературы требовались везде — от чеченских аулов, калмыцких улусов до глухих эвенкийских посёлков. Медвежьих углов на мою долю хватало, и я выбрал самую дальнюю на тот момент точку распределения — Забайкалье, школу-интернат в таёжном посёлке Иван-озеро Читинской области. В интернате этом жили и учились дети из четырёх близлежащих посёлков: Асей, Тарей, Арахлей и Иван-озеро — в основном буряты и эвенки. Посёлки обступала первозданная тайга. Я ехал в эту глухомань с желанием забиться и забыться, убежать от нужды, унижений, подозрительности, от самого себя. Прожил я в этом обиталище охотников, геологов и беглых зэков два года, совмещая учительство с поэзией и журналистикой. У меня установились доверительные отношения с обеими областными газетами, мне часто звонили из редакции «Забайкальского рабочего», и я диктовал им очередную очерковую зарисовку или информацию. Материал тут же ставили в номер. Их интерес к моим материалам объяснялся просто: редакции обеих областных газет не были и наполовину

укомплектованы сотрудниками. Я же к тому времени уже был членом Союза журналистов СССР и обладал довольно бойким пером.

Дело кончилось тем, что однажды ко мне в Иван-озеро под предлогом рыбалки заявился редактор областной молодёжки «Комсомолец Забайкалья» и с порога заявил, что хочет принять меня в штат редакции и намерен сейчас же увезти меня в Читу. Время было каникулярное, и я подумал: а почему бы мне не воспользоваться этой okazji и не поехать на несколько дней развеяться в город? Директор школы, заподозрив неладное, коршуном налетел на редактора. Но я успокоил его, пообещав, что через несколько дней вернусь.

Редакция «Комсомольца Забайкалья» занимала первый этаж массивного здания с колоннами Забайкальской железной дороги, и мне без труда нашли в нём каморку с диваном, столиком и стулом, снабдили чайником и электроплиткой. Я намеревался перекантоваться там два-три дня, а прожил в этой каморке полтора месяца, пока не нашёл квартиру. В Иван-озеро я уже не вернулся.

В редакции мне было предложено несколько вакансий на выбор, включая должности ответственного секретаря, замреда и завотделами. Я выбрал отдел культуры из-за возможности публикаций воскресных разворотов стихов, чужих и собственных. Работа меня увлекла, я был

в гуще литературной жизни Забайкалья и Восточной Сибири. На дворе стояла середина 60-х годов, и литературная жизнь в Чите, как и в европейских городах Союза, была ключом. С размахом проходил ежегодный праздник поэзии «Забайкальская осень», на который приглашались именитые писатели из Москвы и городов-миллионников. Разделившись на группы, писатели разъезжались с выступлениями по приискам, пограничным заставам и шахтам. Всё это я освещал в газетных отчётах в сопровождении стихотворных подборок участников. Знакомства, завязавшиеся в тот период, переросли в дружбу и продолжались десятилетия. К великой скорби, практически никого из них уже не осталось в живых. Да и мне, самому младшему из них, теперь уже 80...

В Сибири — в Забайкалье, а потом в Западной Сибири — я прожил шестнадцать с половиной лет, там прошла моя молодость, вышли первые книжки и родились старшие мои дети...

Как и всякий русский, я чувствовал себя пожизненным должником державы и готов был, не ставя никаких условий, принести ей дары, но она в них явно не нуждалась. Живущая в режиме массовых организованных действий, она делала вид, что отдельной человеческой судьбы, да ещё такой, как у меня, вообще не существует.

В 1928 году, отвечая на анкету «Советский писатель и Октябрь», Мандельштам писал: «Революция не могла не повлиять на мою работу, так как она отняла у меня «биографию», ощущение личной значимости».

О себе я могу сказать с ещё большей определённою: режим отнял у меня родителей, детство, здоровье, лишил голоса.

Всю свою жизнь я разрывался меж двух начал: поэзией, бродившей во мне, и прозой жизни. Интеллигент (в силу своего рождения) среди работяг и мужик-лапотник (по жизни) среди интеллигентов, я был белой вороной для тех и для других; и уж чего-чего, а комплексов на этой почве у меня хватает до сих пор; я так и не научился ладить с людьми, а чувство страха, загнанное вглубь, постоянно напоминает мне о моём происхождении.

Разумеется, комплексы эти развились не сами по себе. С высоты своего возраста сегодня оглядывая прожитую жизнь, могу с полной убеждённостью сказать, что комплексы некой ущербности (*недостаточной «пролетарскости», неполной простонародности*) мне, как и тысячам таких, как я, методически вдалбливались.

Режим, делающий вид, что моих проблем не существует, что к моему безотцовству, неустроенности, полуголодной, нищенской жизни он не имеет никакого отношения, — этот режим не подавал

никаких поводов для доверия ему, не говоря уж о любви. Если я и был ему нужен, то лишь в качестве подъярёмной рабочей скотины.

Согласно записи в трудовой книжке, мой трудовой стаж исчисляется с пятнадцати лет; в действительности же я начал зарабатывать свой хлеб чуть ли не с семи лет — большую часть жизни провёл на работе.

Центр всей жизни тогда был, как известно, смещён к месту работы; предприятие играло роль *«большой семьи»*, представляло собой *суррогатный дом*. Кроме работы в жизни у меня, пожалуй, ничего и не было, и ничего от неё не осталось. (Поэзия, в этом смысле, не в счёт, ибо она не работа в общепринятом понимании, а состояние души). А всё, что я заработал за свой век у этой власти, — увечия. И ничего более.

Когда я слышу слово «коллектив», мне хочется схватить дрын и разнести всё вдребезги. Коллектив — это курятник; не дай Бог сделать резкое движение! — такое поднимется кудахтанье — не обрадуешься! Глаза фарфоровые, на губах пена, животы трясутся... Один на своём насесте закудахчет — остальные подхватят, вот вам и *«мнение коллектива»*.

Коллектив всегда прав.

Коллектив *умаляет,*
подавляет,
унижает
и умерщвляет

отдельно взятую *человеческую душу*. У него для неё всегда заготовлена такая казнь.

Умение жить в коллективе было важнейшим свойством для советского человека: оно позволяло ему в нужный момент свалить вину на другого.

Так и не научившись жить в курятнике, я всю жизнь ощущал себя *«не ладно рождённым»* – *«человеком не в своём месте»*.

Однажды драматург Нина Семёнова, автор пьесы «Печка на колесе», затащила меня за кулисы театра, в грим-уборную главной героини. Комната, по периметру заставленная зеркалами, на меня, непривыкшего, поначалу произвела ощущение дискомфорта. Каждый жест умножался бессчётно; окружённый собой, я видел себя спереди – сзади – справа – слева. И подумалось: ведь и в обыденной жизни мы окружаем себя собственными подобиями – жёнами, детьми, друзьями и вещами; всю жизнь строим для себя зеркальные стены, пока не поднимется однажды сумасшедшее желание – разбить!..

Ещё в детстве я стал ловить себя на том, что подсознательно избегаю мест скопления человеческих особей; скорей всего, это и спасло меня от «ходок» в зоны. В те времена в любой, даже небольшой, компании обязательно присутствовал осведомитель, любое неосторожно сказанное слово могло привести в действие

дьявольский механизм репрессий; перемоловший родителей, он раздавил бы и меня; более нутром, инстинктом, чем умом, я понимал, что все эти люди такие же, как я, только внешне, по морфологическим признакам, по существу же – мы с разных планет.

Вынужденный жить среди всех этих людей, я мучительно пытался существовать вне их – у меня это плохо получалось. Деля с ними одно жизненное пространство, я катастрофически не совпадал с ними по времени: они жили сиюминутными заботами и были воплощением житейской хватки, моей же «практичности» хватало только на то, чтобы не сдохнуть с голоду, – я так и не смог развить в себе хватательные рефлексы. Главной же головной болью для меня всегда было не попасть на глаза «литературоведам в штатском»; для всех них я бельмо на глазу.

В Москву, откуда я был вышвырнут трёхлетним мальцом, я вернулся к пятидесяти годам, с седой бородой и пустым карманом. Ни жилья, ни связей, ни работы. Литературная столица, набычась, смотрела на лапотника-сибиряка, набравшегося наглости соваться со своими виршами в её издательства. Печатали меня со скрипом и в оскоплённом виде. О публикации в толстых журналах нечего

было и думать. Началась пере-стройка, уже всю печатали самых махровых диссидентов, а моим стихам всё не было ходу. Либеральные издания не печатали меня из-за почвеннической и православной направленности, коммунистические — за моё богоискательство. Несмотря на враждебность этих двух групп друг к другу, они консолидировались в трогательном единомыслии, когда речь заходила о травле Могутина.

Все мои стихотворные сборники с невероятным трудом продирались сквозь тернии редакторско-цензурской блокады. Впрочем, издателей можно понять. Редакторы — люди нормы, всякая избыточность (души, искренности, обострённого чувства справедливости и т. п.) их пугает. Стихи, написанные на пределе, для них — что быку красная тряпка.

Чужака во мне чуяли и издательские доброхоты: моя фамилия десятилетиями вымарывалась из тематических планов, даже тогда, когда всю уже печатались, повторяюсь, самые клинические диссиденты, — на то они, «доброхоты», туда и были поставлены; я так и не научился придавать своему вынужденному молчанию сибаритскую форму праздных размышлений и, надо сказать, жестоко страдал от этого. В конце концов, мне уже стало казаться, что выхода из этого тупика не будет никогда.

Несколько больше повезло моим «детским» стихам. Их худо-бедно печатали и Москва, и провинция: видимо, властям предержавшим они были «не опасны» (как будто «взрослые» мои произведения были кому-то опасны!). Отнесённые литчиновниками к разряду *полулитературы*, к «тамбуру» писательства, детские стихи десятилетиями служили мне компромиссом между мечтой и реальностью.

На дворе воцарилась хрущёвская «оттепель», интеллигенты с придыханием и выпученными от восторга глазами говорили о гласности, но мало кто верил, что это всерьёз и надолго. И гулял недобрый стишок:

*Теперь у нас эпоха гласности,
Но скоро кончится она,
И в Комитете безопасности
Запишут наши имена.*

Елена Александровна Благинина, восторженно встретившая мою первую детгизовскую книжку и бывшая в курсе моей неудоваримой биографии, при первой же встрече ободрила меня: «Правильно! Пиши детские — за детские не посадят».

С её благословения в столичных и сибирских издательствах с конца 60-х по начало 90-х годов у меня вышло более двадцати детских книг. Одна из них — «Песенка для весёлого бурундучка» (М.: «Дет. литература», 1987; 1989) —

даже была отмечена дипломом на Первом Всесоюзном конкурсе на лучшую детскую книгу в номинации «поэзия» и была переиздана обычным по тем временам тиражом в 100 000 экземпляров.

Впрочем, это никак не отразилось на моей дальнейшей литературной судьбе. Я по-прежнему оставался «фигурой умолчания» для критики; редакции толстых журналов и издательств были по-прежнему закрыты для моих взрослых вещей.

Однажды в ЦДЛ мне встретился Анатолий Жигулин, вздёрнул кверху утиный носик: «Ну, ты даёшь! В разгар гласности умудрился написать непроходняк». Другие высказывались ещё обиднее...

В молодые годы я полагал, что мою жизнь сделала возможной цепь малопонятных случайностей. И лишь выхлебав свою лоханку помоев до дна, догадался: всё — от Бога! Случившееся сначала воспринимаешь как случайность, затем — как неизбежность: так Господу угодно.

Как-то, после очередного «отлу́па», полученного из редакции, я зачем-то написал своей старой матери письмо о том, как тяжело, беспросветно и муторно мне живётся; я в то время перебивался случайными заработками и нередко испытывал самый настоящий голод; нечем было платить за угол, который я снимал на окраине Читы у безногого алкоголика.

И вот во мне проснулся чеховский Ванька Жуков... Написал я обо всём этом в письме и вроде как облегчил душу.

Прошло уже много лет, как умерла мама, и вдруг я наткнулся на то старое, так и не отправленное ей письмо, пролежавшее четверть века среди пожелтевших газетных вырезок. *Письмо, написанное не матери, — чем она, бесправная и нищая, могла своему бесправному и нищему сыну помочь! — а кому-то другому, быть может, Самому Господу Богу.*

И всё-таки что-то в Небесах сдвинулось, в верхах переменилось, и рукопись моих «взрослых» стихотворений подвинулась к печатному станку. В 1984 году в издательстве «Советский писатель» вышел, наконец, сборник моих стихов «Жар под пеплом», а в 1986 году в издательстве «Современник» — сборник «Пора первого инея» в изуродованном, оскоплённом редактором А. Москвитиным виде. Затем в издательстве «Книга» выходит сборник моих стихов «Магний маленьких молний» (1990). В 2001 году в издательстве «Ковчег» вышла пятисотстраничная книга «Я — обнаружил». Наконец-то и толстые журналы стали регулярно печатать мои стихи. Однако в этой ложке мёда есть бочка дёгтя: тиражи всех этих изданий сегодня мизерны. Перестройка возвела стену между писателями и читателями.

Был, конечно, дописьменный период моего сочинительства, в который я, возможно, был более поэтом, чем в «печатный» свой период. Так ли это? Теперь не установишь. Одно несомненно: детское моё восприятие было куда непосредственней, тоньше и свежее теперешнего; и если сегодня мой мозг воспринимает мир аналитически, интеллектуально, то в детстве он работал в другом — интуитивном, внелогическом режиме, воспринимая реальность в форме голографических сгустков. Сгустков, неадекватных самим себе, ибо, как всё живое, они подвержены непрестанным изменениям; как всё живое, они рождаются и умирают. Но тогда я ещё не думал об этом. Я просто жил.

Помню, я испытывал сильное сердцебиение от переполнявших меня восторженных чувств и ощущений всякий раз, когда глядел на ночную Волгу, слышал басистые гудки пароходов или когда видел в раскалённой степи вырвавшегося из бутылки джинна — крутящийся, пыльный и шаткий смерч; я шептал про себя: «Это всё пригодится!..» Всё моё существо, сотканное из сомнений и недоверия к самому себе, вдруг озарялось вспышками интуиции, настолько яркими, что окружающий мир в эти мгновения исчезал, а язык делался неповоротливым; огненные протуберанцы озарения, рождавшиеся в тёмных глубинах сознания,

затмевали всё, и я невидящими глазами встречал чужие взгляды, шёл среди нищеты и людского шума, зачарованный этим сладким безумием. И тогда я понял: подлинно правдиво лишь непродуманное, иррационально-интуитивное...

На шестидесятом году жизни Господь сподобил меня в третий раз стать отцом. Кажется, мои молитвы дошли до Бога: в момент отчаянного безденежья, когда у нас с женой Мариной не было ни работы, ни куска хлеба в доме, — в этот самый момент мне позвонил малознакомый человек, дьякон, и предложил работу в издательском отделе Патриархии; в этом отделе я проработал до пенсии. Выйдя на пенсию, я продолжал в поте лица вкалывать, чтобы как-то прокормить семью. До того как основательно ослепнуть, по десять часов в день колесил на своём жигулёнке по Москве, развозя по храмам православную литературу. Эта работа поглощала всё моё время, но доставляла удовлетворение и сносный заработок; и я благодарен Господу за то, что Он дал мне возможность в трудное перестроечное время добывать хлеб свой не торговлей какими-нибудь тряпками или — хуже того — спиртным. Я доставлял верующим книги, несущие свет Христовой Истины.

Разные храмы Москвы дарили мне в разные годы довольно

много иконок, ведь я Божеским делом занимался — духовные книги по храмам развозил: две иконы из Греции — Спасителя и Матери Божией — подарила мне староста храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском Тамара Алексеевна; большую икону Почаевской Божией Матери подарили друзья из издательства «Новая книга»; есть у меня и несколько литых иконок Бориса и Глеба (бронза и бронза на дереве) — эти были подарены для младшего сына Глеба, когда он был ещё совсем маленьким. Молился перед ними за все мои грехи — прошлые, настоящие и будущие, разговаривал с ними, как с близкими, просил о помощи — и становилось легче.

По чести говоря, для меня не столь уж важно, кем были мои прадеды (редко кто из нас, советских, знает своих предков в третьем колене); куда важней для меня, кем станут их праправнуки, то есть мои дети. А их у меня трое: дочь Алёна и сыновья Ярослав и Глеб. Среднего, Ярослава, змей тщеславия ужалил ещё в детстве: как я его ни отговаривал, он всё-таки избрал литературную стезю — стал писать стихи, прозу, публиковать одну скандальную статью за другой. Сейчас он автор нескольких эпатирующих зудливое око публики книжек, скандально известен в Белокаменной и за бугром.

Младший сын, Глеб, с трёхлетнего возраста говорил преимущественно в рифму; он ринулся в бой с той умильной авторской самоуверенностью, кою мне никак не удаётся вернуть. Ничего удивительного, ведь у них тяжёлая наследственность: мои дети — сочинители в третьем поколении; причём младший по обеим линиям — по отцовской и по материнской.

Несчастные! Все радости жизни променять на мираж, на бумажное шуршание. Видит Бог, я нам не завидую, ибо и сама жизнь нам служит не для того, чтобы жить, а для того, чтобы эту жизнь описывать. Сколько раз я себе говорил: брось писать — начни жить! Сие, увы, не получилось ни у меня, ни у моих сыновей.

Впрочем, может, мы не так уж и не правы? Ведь человек смертен, а книга — нет. Переноса жизнь на бумагу, мы переводим её в другой временной регистр, и она становится вещью, оторвавшейся от горизонта нашего бытия, выходит за наши временные рамки. Когда-нибудь какой-нибудь Могутин это прочтёт.

Книгу можно носить с собой, как очки, и, глядя сквозь неё, выделять из окружающего невидимую для других вечность.

Слово «отец» и его производные из моего сознания были вытеснены с раннего детства словом

«мать»; в свете столь долгого умолчания о нём я стал серьёзно сомневаться — а существовал ли вообще в природе когда-нибудь этот тип? Я и по сей день дивлюсь, сколь мало знаю о нём.

О моём отце можно сказать словами Шопенгауэра, писавшего о природе сновидения: нельзя утверждать, что сон есть, тем более, что его нет. *Не приняв никакого участия в моей судьбе, он, тем не менее, умудрился так исковеркать жизнь мне и моей матери, что она превратилась в кошмар, едва я появился на свет Божий.*

Выдворение из Москвы за 101-й километр с последующими скитаниями и мытарствами, статус сына «врага народа», намертво прибитый гвоздями режима к моей биографии, ко всему моему существу. Когда же Равича выпустили, обласкали и сделали литчиновником, он просто-напросто сделал вид, что у него нет сына.

Совершенно типичная, надо сказать, линия поведения «кожаных комиссаров» ленинской когорты. Неужто и впрямь права оголтелая феминистка Барбара Смит, полагающая, что *«отец — это биологическая необходимость и досадная случайность»?*

В конце своей жизни мать передала мне две его автобиографические книжки из десятка изданных им — мёртвый след когда-то сжигавшего его пламени, — и кое-что я вычитал из них.

Книги снабжены фотографиями; на одной — мой отец, Николай Александрович Равич, генконсул, в своём кабинете во дворце Баги-Шахи в Герате (1921 год); на нём, щуплом и сутулом, белоснежная рубашка и полуфрак с бабочкой; на другой — он, загримированный под душмана, в чалме и халате, во главе моджахедов, на слонах доставляет самолёты в разобранном виде из Индии в Герат.

Гружённые фрагментами «фарманов» слоны вереницей вышагивают по узкой тропе над пропастью, сопровождаемые вооружёнными до зубов смуглыми людьми. А рядом помещена групповая фотография наших лётчиков на территории генконсульства, которым предстояло с воздуха умиротворять недружественные нам племена Афганистана и устанавливать Советскую власть в Турции.

«Осчастливив» революцией Россию, мой отец и другие эмиссары Советов ввергли в кровавый хаос Афганистан, имея целью установление там своих ревкомов. Дальнейшие планы большевиков простирались в направлении Турции...

В 20-е годы генеральное консульство в Герате, возглавляемое Равичем, по существу представляло собой штаб вооружённой борьбы против законного правительства Афганистана. Консульство через разветвлённую сеть своих агентов в провинциях внимательно отслеживало передвижения

англичан, руководило действиями повстанческих группировок, снабжая их средствами и оружием. К счастью для турок и афганцев, эта кровавая авантюра с треском провалилась, и Равич со всеми сотрудниками консульства и резидентами был отозван в Москву.

В 30-е годы он обретался на различных должностях в аппарате МИДа, пока не грянул 1937 год. Стали спешно стряпаться «дела» и назначаться враги, в которые, как никто другой, подходил назначенец Дзержинского, дипломат Николай Равич, столь бесславно проигравший афганскую кампанию. Спешно припомнили ему все его неудачи с устранением существовавшего в этой стране режима и промахи в Турции, истолковав всё это злонамеренностью и вредительством.

В 1956 году Равич был освобождён по всеобщей амнистии, полностью реабилитирован и восстановлен в партии; ему возвратили звание и награды, подлечили, дали квартиру на Ломоносовском проспекте и пост председателя Репертуарного комитета в аппарате Союза писателей СССР.

К слову о его последнем месте работы.

Ещё в юные годы Н. Равич не чужд был литературного творчества, печататься начал в 20-е годы и продолжал писать, будучи на дипломатической службе; членом Союза писателей стал со дней его основания.

Пик драматургической карьеры Н.А. Равича приходится на конец 30-х годов; на сценах театров обеих столиц с аншлагом шли его пьесы «Ошибка профессора Воронова» и «Машинист Ухтомский». Но наибольшую популярность получили фильмы, снятые по его сценариям, — «Суворов» и «Две столицы» (экранизация его исторического романа о Радищеве и екатерининской эпохе). Он активно работает над сценариями новых фильмов, важные роли в которых прочит молодой актрисе, выпускнице режиссёрского факультета Августе Могутиной. В 1938 году арест на долгие семнадцать лет прерывает его работу и ставит жирную точку на актёрской карьере Августы Могутиной. (Впрочем, бацилла искусства, как я уже упоминал, долгие годы, до преклонного возраста, жила в моей матери; она работала режиссёром народных театров в домах культуры Можайска и Волгограда).

В жизни моего отца для меня много непонятного — почти всё! Известно, что он блестяще владел французским, но также турецким, пушту и дари, иначе его не послали бы в эти страны. И если с французским всё более-менее понятно — многие интеллигенты в старой России владели французским — то с турецким, пушту и дари полная неясность: их-то когда он успел освоить?

Единственная моя встреча с отцом, когда он освободился из лагеря, а меня в свою очередь специально для этого рандеву

отпустили на 10 суток из армии, закончилась окончательным разрывом. После того как он вывалил кучу обвинений в наш с матерью адрес (дескать, мы его не ждали, жировали тут, пока он горбатился на зоне, а мать успела нагулять дочь), я хлопнул дверью и больше с ним не общался.

Я не знал отца, а когда в 1999 году умерла и мать, я вдруг стал слепнуть: исчезают, стираются лица, пятнистый туман заволакивает их черты, улыбки, гримасы...

Какая неразрывная связь, Господи! — утратил мать — утратил зрение.

Думаю, это связано с потрясением, горем, свалившимся на меня. Врачи объясняют это иначе: по их версии, своей слепотой я обязан всей своей предыдущей жизни: голодухе в детстве, надсадной работе в молодые годы, недосыпанию и постоянным стрессам, не в последнюю очередь благодаря каждодневным истерикам моей жены... А смерть матери явилась бикфордовым шнуром к этой mine замедленного действия.

В 2002 году глаукома окончательно доконала меня; в течение весны-лета оба моих глаза трижды оперировали, и правый глаз ослеп, а в левом осталось несколько процентов зрения. Но я всё ещё цеплялся за жизнь и за

писанину, и у меня по-прежнему ни на что не хватало времени; поэтому писал стихи и эссе, а не крупную прозу, для которой у меня нет ни здоровья, ни таланта. Да и зачем разводить тяготину на сотнях страниц, когда о том же самом можно сказать в двух словах?

Постоянные нестерпимые боли в глазах; словно раскалёнными щипцами выдирали у меня из глазниц глазные яблоки. Диагноз: «терминальная болящая глаукома». Внутриглазное давление запредельное; даже слабый луч света доставляет страдание. Сижу в плотно зашторенной комнате. Жена приносит еду, садится рядом, ест со мной в полном мраке, на ощупь — чтобы пробудить во мне хоть какое-то подобие аппетита. Скоро ей всё это надоест...

Врачи вынесли приговор: оба глаза оперировать. Срочно! Причём правый, уже ослепший, — ампутировать.

С разных сторон слышались ахи-охи, сыпались советы: нельзя соглашаться на ампутацию. А мне вспомнился случай с аввой Даниилом. Когда на его скит напали варвары, братья из скита бежала. Но старец рассудил по-своему: «Если Бог не печётся о мне, то зачем мне и жить?» И он прошёл среди варваров, а они не видели его.

Авва Даниил — святой человек, угодный Богу, и Господь спас его от мечей варварских. Я же

обычный смертный, столько испытывавший терпение Господа, что и ампутации окаянной моей головы будет мало для искупления всех моих «художеств». Так что, думал я, положусь на волю Господа моего — пусть оперируют и ампутируют. В конце концов, как-то приспособляются и живут 37 миллионов человек в мире, потерявших зрение, с Божьей помощью проживу и я.

23 июня 2003 года мне сделали очередную глазную операцию — четвёртую за год. Четыре встречи со скальпелем и четыре общих наркоза не прошли даром: руки мои дрожали, как у запойного пьяницы, стало прихватывать сердце, пошаливала печень. На этой, последней, операции мне ампутировали правый глаз.

На пятый день меня выписали из больницы; пустая глазница пылала нестерпимым жаром, сукровица из неё стекала по щеке в бороду, оставляя подтёки на рубашке. Но я всё-таки выходил под присмотром жены за калитку, прогуливался по Переделкину, очухиваясь от больницы.

Бессилие и пассивность — вот качества, чаще других мешающие человеколюбию стать добродетелью. Более того, человеколюбие без решительности порой оборачивается самой настоящей жестокостью.

Не решаясь лишить меня глаза, хирург всё оперировал и оперировал его... В результате ослепший глаз, превращённый стараниями моего доброхота в

кروавый фарш, спасти не удалось, но муки я претерпел адовы — после трёх безуспешных операций глаз всё-таки пришлось ампутировать (иначе воспаление грозило перекинуться в мозг, а это уже перспектива трепанации черепа).

Не напоминает ли всё это случай с собакой, которой из гуманных соображений отрубили хвост по частям?

Итак, правый глаз ампутировали, а в левом умер зрительный нерв.

Слепота сделала своё чёрное дело: я растерял друзей-знакомых, ни с кем не поддерживая отношений — слишком самолюбивый, чтобы домогаться чьего бы то ни было внимания, слишком ранимый, чтобы довольствоваться подачками людского участия. Жена ставила мне это в вину — я вяло отмахивался: кому надо — найдут. Сначала меня искали активно, выпивали со мной по телефону, потом всё реже и, в конце концов, потеряв из виду, забыли вовсе; и я потерял вкус к общению...

Для меня было чудом, что однажды обо мне вспомнил комитет по Горьковской литературной премии. Писателю Владимиру Личутину позвонила поэтесса Олеся Николаева с просьбой написать представление обо мне в комитет. Помнится, она сказала: «Ты же дружишь с Могутиным? Как его разыскать и попросить у него его публикации и книги?»

Личутин опарашил меня этой новостью. Где же я возьму новые книги, когда у меня последние десять лет ничего не выходило?! Однако комитетчиков это не смутило. «Пусть представит свои публикации в периодике», — сказали они. Собрали и представили мои подборки стихов в толстых журналах и литературных газетах, вышедшие за последние годы. Я был уверен, что этого для премии недостаточно. Но, к величайшему моему удивлению, премию мне дали. Это событие повлекло за собой ещё более неожиданные последствия. Благодаря Горьковской премии я получил новую социальную квартиру в хорошем районе столицы (до этого я жил по съёмным лачугам в Мичуринце). Жильё мне дали по хлопотам бывшей супруги президента страны Людмилы Путиной, куратора Горьковской литературной премии.

Что можно сказать о моей жизни? Удалась ли она? Тут всё зависит от точки отсчёта. По крайней мере, я благодарен Творцу за то, что Он не отдал меня в лапы следователей Лубянки или — что ничуть не лучше — в лапы эскулапов какой-нибудь экспериментальной психушки; я не стал дебилом, бомжом или наркоманом и даже не спился, хотя причин к тому было предостаточно. Более того, в какой-то своей части осуществилась мечта

моей полуграмотной, лишённой книжной среды, нищей молодости: я стал писателем, столичным поэтом.

Начинал свой трудовой путь матросом на рыболовецких промыслах, а заканчиваю жизнь писателем. Чтобы заполнить пробел между двумя этими этапами, закончил десятимесячные курсы киномехаников на Кубани, в Лабинске; был подсобным рабочим на восстановлении Сталинграда, кормил вшей в заволжских степях, проводя в казачьи мазанки свет и радио (помнится, в бригаде я был младшим, что называется, салагой, и бригада делала всё, чтобы мой заработок не давался мне даром).

Потом я травился газами на химическом «ящике» п/я 5: он выпускал боевые отравляющие вещества, а я менял в его утробе изъеденные кислотой кабели и арматуру.

Четыре года срочной службы не прибавили в моей жизни приятных ощущений: венгерские события 1956 года, служба в режиме военного времени и нескучая «награда» за напряжённую службу — семьдесят суток гауптвахты, из них шесть суток («за оскорбление старшины действом») — в карцере.

После службы — работа на крановом заводе в Камышине, скитание по квартирам и хроническая нужда, сухомытка нищеты. Тогда же и там же, в Камы-

пшине, первые (если не считать двух стихотворений, опубликованных в Сталинградской областной молодёжке «Молодой ленинец») подборки стихов в Камышинской районной газете «Ленинский путь».

Сегодняшний мой послужной список — шесть стихотворных сборников, две книги прозы и два десятка детских книжек, переводы с финского, молдавского, украинского, узбекского, несколько восторженных рецензий и, наконец, Горьковская премия и ряд премий толстых журналов — может обмануть кого угодно, только не меня. У меня по-прежнему нет ни денег, ни славы, ибо деньги водятся у того же, у кого и слава, а слава — продукт раскрутки и тусовки. Я же человек не тусовочный, мне на тусовки попросту жаль времени, да и противно всё это! Я так и остался нищим поэтом-анахоретом.

Когда и как меня угораздило поменять полдюжины худобно кормивших меня, стабильных профессий — матрос, киномеханик, шофёр, электро-монтажник, учитель-словесник, журналист — на эфемерное и

бескормное существование профессионального поэта?

Теперь-то мне кажется, что я поэтом не становился, а был им всегда. Это так и не совсем так.

Я до сих пор не упомянул про самую первую публикацию моих стихов, если это можно назвать стихами. Она случилась в 1956 году в газете 58-й Воздушной армии «Крылья Родины». Это были неуклюжие пафосные строчки, однако, когда их напечатали, я чувствовал себя на седьмом небе. Сколько гордости и спеси было! Я стал километрами сочинять и рассылать стихи во все известные мне газеты. И отовсюду получал ответ типа: парень, ты занимаешься не своим делом, займись чем-нибудь полезным. Возмущению моему не было предела. Как же так?! Ведь меня уже опубликовали в солдатской газете! С тех пор пронеслась целая жизнь. Я вспоминаю те «Крылья Родины» и мучаюсь вопросом: а действительно, тем ли я занимался всю свою нелепую жизнь? И выросли ли у меня за это время эти самые крылья? Этот вопрос не даёт мне покоя по сей день.